

Валентин ГАВРИЛОВ.

В тупиках отчуждения и духовного сиротства
(герои в повестях Николая Смирнова)

Николай Смирнов имеет свое лицо и не отступает от него, какой бы жизненный материал он не осваивал в своих произведениях. В его книгах причудливо совмещаются элементы фантазмагии, демонстративной условности с грубой действительностью, с жестким «бытовизмом». В конце повести «Сын Коли-Бога» есть знаменательный эпизод, который не только выразительно завершает сюжет, но и проясняет эстетические принципы автора, особенности его художественного метода. Сотрудница бензозаправки расспрашивает водителя, доставляющего в райбольницу для вскрытия тело самоубийцы, оказавшегося соседом заправщицы. Несмотря на экстремальность события, оба собеседника ограничиваются мелочными поверхностными соображениями. Женщина «стала торопливо и уже не в первый раз пересказывать, из-за какого пустяка повесился Симонов, придавая всему этому вид повседневной случайности, привычного русского обыкновения».

В своей прозе Н. Смирнов приводит множество примеров подобного восприятия реальности русским человеком. Многих персонажей Смирнова характеризует этот роковой изъян, эта обидная слабость, которая отчуждает их от подлинного смысла жизни, отчуждает их друг от друга.

Тривиальное восприятие самоубийства героя, не ведущее к прозрению других участников событий, не приводящее в движение духовных и жизненных энергий, на первый взгляд, подключает Николая Смирнова к соответствующей традиции А. Чехова. Треплев в «Чайке» кончает самоубийством, Войницкий в «Дяде Ване» покушается на убийство профессора Серебрякова, но из-за этого никто не прозревает и никакие духовные и жизненные энергии в движение не приходят. Но у Чехова эти провалы и поражения персонажей объясняются ущербностью исторической ситуации и ущербностью современных людей. Вдобавок у Чехова современные люди осознают свою личную несостоятельность, рефлектируют по поводу действительности и критически относятся к ней.

У Николая Смирнова констатации более удручающие и более неутешительные. Персонажи Смирнова пребывают в состоянии отчужденности, духовного сиротства, неприкаянности. Они не находят, к чему притулиться, на что опереться. Мир их бытия тесен, замкнут, скуден. Совершенно понятно, что нечем обнадежиться и воодушевиться человеку в колымском краю рудников и приисков, в краю, который заперт холодами и тайгой, на земле, не рожавшей хлеба. Гнетуще действуют на человека хилые постройки колымского поселка в повести «Василий Нос и Баба-Яга»: «...строения стояли тесно и ... почти каждое из них не было похоже на другое. Но эта непохожесть не разнообразила, не радовала, а наоборот, удручала. И к сарайкам, и к стенам домов чего только было не попритыкано. И бревна, и гнилушки-доски, и просто колья или свал свежих ящиков из-под консервов». На наш взгляд, этому описанию следует придать знаменательное, принципиальное значение. Дело в том, что не только в обстановке, окружающей смирновских персонажей, но и в самих их шатках, непросветленных душах «чего только было не попритыкано», кроме главного, стержневого, житнетворного, плодоносного. Трудно чем-нибудь ободриться на Колыме, но вот в повести «Сын Коли-Бога» лишь радость от скорой встречи с матерью заслоняет от сознания и взгляда начинающего поэта Владимира Симонова безотрадное зрелище скудной жизни районного городка где-то в срединной России, в Ярославской области: «Он не замечал, как много здесь говорило о людской бедности: улица, по которой он шел от автостанции, начиналась с заброшенного дома с вынутыми уже оконными рамами, дальше по задворкам лепились огородики, разные сарайки, сделанные иногда чуть ли не из картонных коробок: чтобы обустроиться

на этой земле, местные жители использовали все, начиная от ржавого, свалочного железа и бывшей в употреблении фанеры».

Скудость и беспорядочность материального бытия у персонажей Смирнова соответствуют скудости и беспорядочности их духовной жизни. Вот, например, бедствующая в военное лихолетье Маша Симонова начинает подворовывать шерсть в катальной мастерской, а после заключения выходит замуж, будучи двадцатью годами моложе, за никчемного мужика, «пьяницу и лежня» Колю-бога. Этот Коля считает причастным себя к божественному. Эту причастность он демонстрирует карикатурно, скоморошески, вызывая насмешки и издевки окружающих. Не особенно много «попритыкано» в душе Коли-бога. Но суть не в том, что ничего не освоено, ни к чему не осуществлено восхождение, а в том, что даже божественное становится частью хаоса. Об этом хаосе и осквернении догадываются земляки Коли-бога. Они даже эту догадку распространяют на самих себя. Но догадка не превращается в подлинное раскаяние, в энергию очищения от греховности: «Сами корстовцы так растолковывали нехитрые ее смыслы (ключки «Коля-бог». — В.Г.): “Вот-де какой у нас мужик есть — пьет-гуляет, грешит, а сам прикидывается божественным — да не такие ли и все вы?”»

Недостаток внутренней определенности и твердости, шаткость мировоззренческих основ мешают героям Смирнова приобщиться к плодоносным началам бытия. Труд, деятельность их не просветляют, не становятся для них чем-то самоценным. Тоскливое, мрачное настроение, которое преобладает в жизнечувствии Владимира Симонова не оставляет его и тогда, когда он приступает к работе: «Когда утром Симонов сюда приходил и надевал спецовку, жизнь в стенах с оббитой штукатуркой тоще, тщедушно оживлялась». Это тощее, тщедушное оживление лишь обостряет непрерывное ощущение героем своей и общей ущербности.

Персонажи Смирнова, и вольные, и заключенные, ощущают давящий груз зависимости, никак не могут стать внутренне свободными даже тогда, когда такая возможность им предоставляется. Васька Нос, отбывший срок заключения, но не получивший разрешения на выезд с постылой Колымы, не испытывает никакого облегчения, а наоборот, чувствует себя проклятым и поверженным. Васька Нос при всей своей анархической, разбойничьей натуре психологически абсолютно порабошен. Внутренне он покоряется начальственной воле, которая для него непостижима, иррациональна, вездесуща. Он не может духовно сопротивляться этой воле систематически и повседневно. Все, на что способен Васька Нос в своей ненависти к начальству, — это взрыв, извержение слепой разрушительной стихии. Способом возражения начальству для Ветрова становится по преимуществу убийство. При этом внутренняя покорность перед начальством санкции на это убийство не дает. Васька Нос — отпетый уголовник, забубенная головушка, а прямо-таки от физиологического подобоострастия перед властью избавиться не может. Это раболепство безотчетное, но от того не менее гнетущее, болезненное, вызывающее душевное помрачение и нравственные судороги. Ведь наблюдал же Василий Ветров и уязвимость и беспомощность власти. Схваченный после побега, он оказался в камере смертников вместе с бывшим секретарем обкома, совершенно поверженным, который плакал и молился. Это наблюдение и этот опыт могли бы послужить предпосылкой для дифференциации Васькиных представлений о начальстве. Но власть остается для Ветрова монолитом, фетишем, повергающим в оцепенение его душу и сознание. Власть — объект бесплодной и бессильной ненависти и причина внутреннего распада морально порабощенного ею героя.

Аналогичное отношение к власти характерно и для главного героя повести Н. Смирнова «Сын Коли-Бога». Прослышав о стихотворных опытах Владимира Симонова, партийное начальство в мастерской назначило его политинформатором. Это возмущает героя как посягательство на его личное достоинство. Между собою и начальством он ощущает бездонную пропасть. Если с бывшим уголовником он может поговорить о сокровенном, о своих стихах, то даже ближайшему, низовому начальнику он абсолютно не доверяет, хотя

в общежитии этот начальник спит рядом, на соседней кровати. Смирнов иронически сообщает об авторитетных для Симонова людях: «Симонов думал про свои стихи, что они хорошие: еще в армии, в стройбате, товарищи его хвалили, один даже так говорил: “Молодец, у тебя много чувства!” И здесь, на работе, хвалил его не только радиомастер, но и газосварщик, отсидевший срок в лагере и в поэзии понимавший». Выходит, статус бывшего уголовника, в глазах Симонова, свидетельствует о превосходстве в понимании жизни и в понимании поэзии. Подобная убежденность весьма укоренена в русском сознании. Что говорить о простых людях, но ведь даже Горький подчеркивает в характерах вора Васьки Пепла и вора Челкаша особые достоинства, в том числе и в сфере поэтического восприятия жизни.

Смирнов в повести «Сын Коли-Бога» показывает, что отторжение рядового человека от власти мотивировано отнюдь не только ее пороками, но и капризностью, вздорностью самого рядового человека. Предложение и даже приказ стать политинформатором можно расценить как доверие начальства к Симонову. Но он не допускает иного отношения к руководству, кроме враждебности и подозрительности. Смирнов раскрывает подобное состояние героя с незаурядной психологической выразительностью: « — И меня политинформатором, мама, сделали!.. Даже и без красной книжки! — выкрикнул Владимир. И с нарочитой гримасой хозяина увернул звук пластмассовой коробочки: как насекомое на стене раздавил. — Хоть дома-то этому начальству пятки прижгу! Говорят, что всего много у нас — почему же мы, рабочие, живем и ничего не видим?»

Советская власть и господствующая идеология, которая тотально навязывается человеку по радио и в газетах, Симонова раздражают, он их отвергает. Однако отвергая, он попадает к ним в плен. Его эмоции и переживания слишком мотивированы властью и ее идеологией.

В повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» мы наблюдаем у профессора Преображенского сугубо критическое отношение к советской пропаганде; профессор предостерегает от чтения советских газет, которые, по его ироническому замечанию, вредят пищеварению. Душевное же равновесие профессора Преображенского остается неуязвимым. Он ничуть не склонен самоутверждаться посредством истерических выпадов против советской пропаганды. А начинающий поэт Симонов в повести Николая Смирнова к этому склонен. Давить кнопку радиоприемника как какое-то злое насекомое — это фикция борьбы. Настоящих усилий по выстраиванию собственной души Симонов не предпринимает. Вместо этого он твердит бесплодное заклинание: «Почему я раб, раб, раб?» Здесь вроде бы и протест проступает, а, в конечном счете, оказывается бессильное поражение. Любопытно, что профессор Преображенский у Булгакова, сопротивляясь отвергаемой им власти, в конкретных, локальных ситуациях, достигает частичных успехов. Смирновский же Симонов, «возведенный» начальством в политинформаторы, расценивает это обстоятельство как роковое, катастрофическое. Психологически он ощущает себя попавшим в какую-то черную дыру, в которой концентрируется бесконечное зло. В его болезненном сознании абсолютным воплощением зла становится генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев. Если для Ваньки Ветрова абсолютное зло концентрируется в бухгалтере Маргослепове, то для Симонова — в Брежневе. Оба персонажа бунтуют против справедливости, покушаются на убийство, но жертвой убийства становятся не те, кто должен был стать: Ванька Ветров убивает жену и дочь бухгалтера, а Симонов — собственную собаку.

Хотя в повестях Симонова немало социальной конкретики, бытовых примет и деталей, писатель пытается осуществить восхождение к предельным началам и предпосылкам бытия. Мироздание не представляется Смирнову чем-то благодетельным, а люди и цивилизация отступившими от первородной чистоты. В самих изначальных стихиях мироздания писатель различает нечто фатально грозное и мрачное. В людских испытаниях и бедствиях Смирнов усматривает некий вселенский космический первоисточник: «И, наверное, только эти звезды, которые от мороза становились все злей

и пристальной, понимали скрытую суть железных завалов — ржавых труб, распущенных тракторных гусениц, электромоторов, трансформаторов, колес, катушек тросов, что громоздились и под открытым небом, в снегах, и под ветхими навесами. Только они знали, сколько еще здесь, в омертвелом, не рожавшем хлеб земляном лоне спрятано золота. Может и весь прииск был вкайлен, втян кострами в вечную мерзлоту для тайной и злой их воли?»

Для русской классики более характерно и более знаменательно противопоставление социального зла и природной благости. Например, в финале романа Булгакова «Белая гвардия» звезды в своем вечном торжественном блистании изображены как укор людской жестокости и кровавым распрям гражданской войны.

Мандельштам в стихотворении «За гремучую доблесть грядущих веков...» отстраняется от царящего зла, «от кровавых костей в колесе», в колесе истории, утешаясь благостью природы:

Уведи меня в ночь, где течет Енисей

И сосна до звезды достает...

У Булгакова и Мандельштама, несмотря на отчаянность исторического момента, проступает альтернатива злу. У Смирнова зло настолько обильно, естественно, что даже звезды оказываются не обособленными от зла, а причастными к нему. Зло у Смирнова столь укоренено и неистребимо, что даже звезды воспринимаются как санкции зла и даже его источник.

Но в изначальных безднах бытия для Смирнова сокрыты не только гнетущие, угрожающие начала, но и целительные, окрыляющие. Правда, последние начала оказываются для героев Смирнова недоступными, недостижимыми. Был счастливый момент в смутной и сумбурной судьбе Владимира Симонова, настоящий дар и благодать, на который он не смог откликнуться: «Он шел по тропке уютного тротуарчика, отделенного от мощеной булыжником улицы кустами шиповника, и здесь, в теплом закутке, у обшитой тесом стены старого дома, его окликнул голос: “Вовка!” (...) Он почувствовал, что в этом закутке жизни — глубина, рай, что все здесь живое, все дышит, мерцая: и цветы шиповника, и тропка, и солнечный, ветхий тес стены. Может, все это — живое, райское — окликнуло его человеческим голосом? Он тогда и не предполагал, что такого счастливого слияния с жизнью больше никогда не будет». Для слитности с жизнью Симонову потребовалось некое чудо, потребовалось, чтобы какая-то таинственная сила окликнула его по имени. Следовательно, для счастья герою непременно нужно выйти за рамки будничности. Суть дела не в преображенной действительности, открывшейся герою в прекрасной ипостаси, а в этом колдовском, волшебном оклике. Герой не ощущает сопричастности к мирозданию и его смыслам через опосредования, через множественность и вариативность бытия. Для переживания сопричастности ему нужно что-то концентрированное и уникальное, в данном случае — непостижимый оклик по имени. Николай Смирнов убежденно и вдохновенно доказывает, что в описанный счастливый момент жизнь в ее полноте вливается в душу и в сознание героя. Но поскольку это сопряжено с редкостным условием, с чудесным окликом, то возникает основание не для окрыляющих надежд, а для сомнения и тревоги.

В повести «Старосветские помещики» Гоголь в пространном лирическом отступлении делится своими впечатлениями и переживаниями от аналогичной ситуации, когда таинственный голос во время уединенной летней прогулки окликает его по имени. Гоголь испытал не радость сопричастности к миру, а леденящий ужас. Похоже, Смирнов не замечает, что герой Симонов даже в блаженное мгновение жизни воспроизводит худшие стороны своего характера, которые так выразительно и пронизательно раскрывает писатель: раздвоенность личности, ориентацию на чудо, внутреннюю изолированность, расщепленность души на редкие моменты радости и продолжительные интервалы угнетенности.

Стремясь разобраться в душевных изгибах, в эмоциональных порывах, в идейных и жизненных тупиках своих героев, Николай Смирнов размышляет о нравственных проблемах и перспективах русского человека из провинции. Этот человек нередко далек от исторических магистралей, от высокой культуры, от целостного мировоззрения. Но в сознании, в поведении, в судьбе этого человека писатель обнажает острые проблемы, без разрешения которых шатким и рискованным оказывается наше будущее.

В центре повести «Василий Нос и Баба-Яга» — жизнь антигероя, который преступает почти все заповеди: убивает телесно и духовно, лжет, заключает сделку с дьяволом, отрекается и предает. Однако подобный вывод следует лишь из голых фактов, а к элементарным фактам содержание повести далеко не сводится. Ванька Ветров в состоянии душевного помрачения убил женщину и ее дочь — младенца для того, чтобы избавиться от внутреннего дискомфорта фатальной закрепощенности, чтобы сокрушить в себе гнетущую зависимость от власти. Ванька Ветров жестоко и преднамеренно вместо себя подводит под расстрел малодушного уголовника Василия Четвергова. Ответствен ли он за эти злодеяния абсолютно и безоговорочно? Не должно ли государство отчасти разделить с ним вину, поскольку обрекло его на нечеловеческий удел? Автор повести допускает подобный сдвиг центра тяжести в интерпретации поведения и судьбы героя. В русской классике падший человек, преступник отторгает себя от фундаментальных начал бытия, от первоизданной природы. Иное дело Ванька Ветров, ставший Василием Четверговым. Васька Нос чем-то сродни грозной колымской природе, в которой явно не предусмотрены жалость, нежность, растроганность: «Все там было как бы заново родившимся и не имело прошлого. Или оно напрочь было отрублено? И Васька Нос... будто самозародился там, сгустился, как валун в распадке, из серого цвета каменистых осыпей, галечников, серых старых столбов лагерных ограждений. Не поминал он никогда про родителей, точно их у него и не было. Весь был оттуда — из нависей скальных пород, мхов, ягелей, тусклых кварцевых песков».

Знаменательно, что Васька Нос представлен в детском восприятии. Это давнее восприятие самого автора. Васька Нос вызывает у подростка неприятные ощущения и ассоциации. Но любопытство и детская интуиция подсказывают мальчику, что в этом человеке скрыта какая-то тайна, скрыта какая-то незаурядная способность. Хотя Васька пугает детей, что умеет предсказывать смерть, ничего зловещего в нем они не улавливают. Более того, он с какой-то охотой и удовольствием ставит себя в общении с детьми в комическое положение. Он легко мирится с насмешками детей, которые опровергают его похвальбу об участии во взятии Зимнего дворца. Тем самым автор позволяет ассоциировать его со знаменитой когортой детей лейтенанта Шмидта. В портрете Васьки нет ничего зловещего и повергающего в ужас: «... человек в серенькой поношенной спецовке. Поседевшие космочки волос лезут из-под шапки, одно ухо которой отвернуто торчком вверх, другое — тесемочкой до плеча свисает. Из-за покляпого, сильно увеличенного носа глазки маленькие поблескивают хитро, будто желают сквозь перегородку эту друг на друга глянуть — замутненные, слабоватенькие, как бы крепко припугнутые некогда глазки... а, может это они от спирта, грамм сорок которого держит Васька под дощатым столиком в железной кружке?» Да и хитрость Васьки какая-то наивная и ребяческая. Да и пятью граммами спирта он угощает подростков без уркаганской властности и давления. В повести есть символический эпизод, составляющий зерно сюжета, его смысловую подоплеку. Это эпизод с воскрешением тритона, найденного бурильщиком в глубоком шурфе. Тритон целые тысячелетия пребывал в анабиозе в кромешной тьме и холоде. Именно Ваське Ветрову, бросившему тритона на огненную плиту, удается оживить его на короткое время. Мы наблюдаем здесь повтор мотива о связи Ветрова, будущего Васьки Носа, с первобытными, неодухотворенными началами мироздания. Именно в благодарность за воскрешение тритона и получил он впоследствии от Бабы Яги «избаву» от смерти.

Именно первобытная, неодоухотворенная сила движет Ветровым в момент убийства Маргослеповых. Формально освобожденный, но без права выезда на материк Ветров хочет разорвать оковы, стискивающие его душу. Ненависть Ветрова сосредоточилась на бухгалтере Маргослепове, который поставил в пример Ваньке самого себя, посланного на Колыму Родиной и партией. Ванька, как Раскольников у Достоевского, хочет убить для себя, он хочет отважиться, посметь, превозмочь свою робость. Ветров внушает себе, насколько омерзителен Маргослепов. Это отвращение должно перевесить страх перед начальством, но не перевешивает. Ванька тешит себя обидой на власть, но и ненависть, обида остаются на уровне буйной, слепой страсти. Раскольников у Достоевского освободил себя от моральных запретов после тщательного анализа исторических и социальных безобразий, тем самым он обрел субъективное право на убийство. А Ванька отринул моральные запреты стихийно и бессознательно, уподобясь молнии, смерчу, землетрясению, которые убивают не рассуждая. О своих переживаниях и действиях он ничего всерьез не может помыслить. И бунт его, и робость перед бунтом смутны и бесплодны: «Страшно становится вдруг Ветрову от того, что не убить ему Маргослепова. Нет, человека убить — это раз плюнуть! — говорит себе Ванька. А страшно ему от того, что замысел этот — напасть на бухгалтера, то есть на начальника — настолько дерзновенен для Ветрова Ваньки, что даже и желание уехать на материк отрывается от этого замысла».

Поэтому он «радовался», не застав бухгалтера дома, но как и Раскольников, созревший для убийства, Ванька оказывается в абсолютной зависимости от своего замысла. Раскрывая состояние антигероя, Смирнов прибегает к реминисценциям из «Преступления и наказания»: «”Вот, оказывается, как”, — пронеслось еще в нем, и это “вот, оказывается, как” значило, что замысел уже бесповоротно свершился и, чтобы он сейчас, Ветров, не предпринял — не в его воле уже было помешать этому замыслу».

Сам факт убийства представлен в ужасающих натуралистических подробностях. Ванька настолько примитивен и бесчеловечен, что у автора не возникает оснований представить субъективный мир жертв — женщины и ребенка. Все представлено через убогое и ущербное восприятие Ветрова. В защите от укоров совести он не нуждается за отсутствием последней. Жертвы в описанном эпизоде представлены чисто функционально.

Васька Четвергов, уголовник, случайно оказавшийся в камере смертников, для Ветрова также чисто функционален. Он употребляет жизнь Четвергова для спасения собственной. В камере смертников Ванька Ветров почувствовал «будто истаял до тла». Душа антигероя исчезла, провалилась в пустоту и тьму, он ощущает рядом с собой какие-то ворочающиеся звериные туши. Да и сам он инстинктом зверя догадывается, что он может присвоить жизнь Василия Четвергова: «”Вот он, значит, какой”, — мелькнуло у него. Этот “какой” так и вертелся в Ванькиной голове, и был он, наверное, тот самый темный образ, клок тумана или мысленной тьмы, что помогал ему быстро и остро схватывать, примерять к себе все еще никак не утихомиривавшееся, все еще происходящее убийство матери и дочери Маргослеповых». Ванька убил, теперь убьют его — дальше этой примитивной функциональности сознание антигероя не идет. Функциональность жены и дочери Маргослепова для Ваньки в том, что все их человеческие определения, их свойства исчезли для него. Самые отпетые преступники различают в младенце некий отблеск ангельского, божественного. Младенец некоторым образом выше человека, приобретающего и достоинства и пороки. Дочка Маргослеповых была поглощена темной стихией, слепой страстью Ветрова, то есть стала функцией этой страсти. Ванька Ветров еще до расстрела ощущает себя отсутствующим, исчезнувшим. Он субъективно превращается в материал для функционирования карательного механизма государства, то есть в функцию этого механизма.

Моральное и волевое исчезновение антигероя превращает его в средство для приложения черных сил мира. Переход в это состояние разворачивается в предсмертном сновидении

Ваньки. В своих грезах он поднимается на сопки, стоит «в звездной гуще». Он тревожится: «Я по звездам иду, как бы не провалиться». Конечным пунктом его фантастических странствий оказывается избушка Бабы-Яги. Облик ее отталкивающий, вызывающий отвращение. Ваньку обдает исходящим от нее запахом мертвечины, но он соглашается попробовать предложенное ею угощение, «пересилив тошноту, хлебнул раз, хлебнул другой — и сожрал все...». Ванька отдает себя под власть ведьмы, союз с дьяволом заключен. Но оказывается, что ведьма повелевает не только волей и судьбой Ваньки Ветрова, но и волей и судьбой Васьки Четвергова. Баба-Яга сообщает Ваньке, что его спасение обеспечено: «— Дам-дам избаву. Тынина уж приготовлена у меня для Василия Четвергова!»

Один из кульминационных моментов повести Смирнова, таким образом, выводится из традиционной системы психологических и житейских мотивировок. Четвергов обречен, и ничего предпринять для своей защиты не сможет. Баба-Яга вручает Ваньке Ветрову «избаву» от смерти — нож, выточенный по воровскому стандарту. Да и в голосе, и в повадке Бабы-Яги замечает он что-то родственное уголовной бравате: «Сам звук ее голоса, в котором отдавалась и блатная куражливость, и сиплый предсмертный стон — были смыслом, и были Ваньке странно близки и понятны. Таким тоном ему в лагерях не раз говаривали». Следствием фантастического сновидения оказывается сугубо материальный предмет. Подобный сюжетный ход использовал Гоголь в повести «Майская ночь или утопленница». Герой повести помогает во сне панночке-утопленнице отыскать свою обидчицу ведьму, за что вознаграждается реальной запиской, которая обеспечивает счастливый финал его любовных исканий. Левко, благородный герой, получает фантастическое подспорье в своих достойных жизненных замыслах и притязаниях. Однако впоследствии он живет и действует свободно. В другой гоголевской повести — «Портрет» — начинающий художник Чартков получает фантастическое подспорье фактически от дьявола и употребляет это подспорье для сомнительных, нечистоплотных целей. Оплачивая продажных журналистов, Чартков снискал репутацию талантливого художника. Картины же настоящих творцов он в исступлении зависти и ненависти скупал и уничтожал. Поддаваясь магнетическому влиянию черной силы, Чартков теряет внутреннее равновесие и испытывает нравственные муки. После сделки с дьяволом он лишается свободной воли. Столь же безобразными и ужасающими оказываются последствия соглашения с черной силой для Ваньки Ветрова в повести Н. Смирнова «Василий Нос и Баба-Яга». В избушке Бабы-Яги Ванька услышал исчерпывающее пророчество о своей судьбе: «Голос прямо из света читает: «Твоя жизнь — пирог из чертентятины». И видит Ветров: что-то черное, как огромный гроб, выступает из тьмы и загораживает выход... «Умрешь — лопнет твоя телесная оболочка, как орех, — гудит голос, — и вспыхнет огнем твоя совесть».

В повести Смирнова не обсуждается, почему вор Васька Четвергов стал добычей Бабы-Яги. Пригодность же Ваньки Ветрова для участия в ее кознях и злодействах раскрыта исчерпывающе. После расстрела настоящего Василия Четвергова Ванька Ветров присвоил себе его имя и по необходимости часть его судьбы. Эта необходимость была выигрышной, так как вместо расстрела ему пришлось лишь отсидеть вполне посильный срок. Но преимущественно формальное вхождение в судьбу Четвергова через несколько лет становится вхождением реальным. Слепая мать Четвергова с помощью сердобольной соседки отыскивает своего непутевого сына, который после заключения остался на колымских приисках и материально преуспевает. Взыскание алиментов в пользу матери обеспокоило Ветрова-Четвергова. Васька отправляется в деревню, чтобы побудить свою анкетную мать отказаться от алиментов. Наступает новый кульминационный момент повествования. У старухи Четверговой не возникает ни малейших сомнений в подлинности вернувшегося сына. В противовес козням Бабы-Яги возникает другой ряд психологически и житейски немотивированных предпосылок и факторов, которые влекут Ваську Носа к свету, к спасению. Он грубо и бесцеремонно втолковывает дарованной ему

матери: «Все чудишь, мамаша? Уж скоро пятнадцать лет, как Вася твой косоглазый в могиле! Неужели ты сына от чужого мужика не отличишь?» Неотразимость и сокрушительность приводимых фактов старуху не убеждают. Между тем благодаря близости дарованной ему матери что-то человеческое начинает оттаивать в оледенелой, омертвелой душе Васьки Носа. Доводы Васьки на старуху не повлияли, а ее, казалось бы, безрассудное упорство в признании его сыном начинает колебать его примитивную самоуверенность относительно независимости от Васьки Четвергова. Убеждает Васька Нос старуху, «говорит, а как-то все не так выходит: словно он это про себя, словно он и убит». Если бы Васька Нос проникся сознанием своей убитости, то для него забрезжила бы надежда на воскрешение. Эта перспектива предваряется в сновидении Васьки, предшествовавшем его объяснению с матерью. В этом сновидении он карабкался по стенкам глубокого шурфа к свету, к спасению, но выход ему загородило «лицо неясно черное и словно кровавое», очевидно, лицо Бабы Яги. Васька рушится на дно шурфа. Мерцающая надежда на духовное возрождение уничтожена.

В старухе Четверговой Смирнов различает богородичные черты. Богородица прощает и дарует любовь даже оступившимся, падшим, предавшим. Но скверна взяла верх в сознании Васьки Носа, и он сам отринул дар любви. После этого наступление физической смерти антигероя, можно сказать, становится формальностью. Погрязший в мерзости и лжи, Васька решает прибегнуть к помощи государства для сведения счетов со старухой Четверговой. Зная, что срок давности по его преступлению с Четверговым истек, он бесстыдно рассказывает уполномоченному об этом преступлении, чтобы получить «избаву» от алиментов. Только «избаву» от подлости, бесчеловечности, которую не раз предлагали ему жизнь и небеса, Васька Нос никогда не мог ни заметить, ни оценить. Замечательно, что выдавший виды уполномоченный, к которому Васька пришел со своим подлым заявлением, уполномоченный, явно не склонный ни к религии, ни к мистике, догадывается о «пироге с чертенятиной». Уполномоченный доводит до логического конца устранение антигероя из мира живых и лишает Ваську паспорта: « — Паспорт — сдать! И беги отсюда дальше, скотинина!... Я тебе сказал, бандитская морда, чтобы ты мне на глаза на территории прииска больше не попадался!... Пусть тот, кто подначил тебя это сделать, тот пусть и выдает тебе документы!»

Определенна и выразительна в повести Николая Смирнова «Василий Нос и Баба-Яга» социально-бытовая основа происходящего. Но логика повествования, свойства характеров отнюдь не исчерпываются чисто психологическими и социально-бытовыми мотивировками. Смирнов показывает, как в судьбах его героев участвует фантастический элемент, как в их жизнь, в их внутренний мир вторгаются роковые силы мироздания. Но грозные и мрачные начала бытия встречают отпор в глубинах человеческого сердца и души. Бабе-Яге противостоит кроткая и любящая старуха Четвергова. Победы черных сил не устраняют воли человека к сбережению своего достоинства и своей веры. В повести «Сын Коли-Бога», как и в повести «Василий Нос и Баба-Яга», центральной стала проблема отпадения героя от мира и проблема его самоотчужденности, то есть отпадения от самого себя. В первой повести эта проблема приурочена к личности анархической и преступной, а во второй повести — к личности, в серьезной степени причастной к культуре и идеологии. Внутренняя раздвоенность начинающего поэта-рабочего символически воплощается в его сне о возвращении к матери в родной дом. В этом сне он представляет себя спящим и раздосадованным на стуки и шорохи за стеной, которые он приписывает соседу. Попытка выяснить отношения с соседом оборачивается ошеломляющей встречей Симонова с самим собою: « Вот какой, значит, я? Не в людях, не на работе, а по настоящему: просто, как умаленный силуэт, а не человек! Его вдруг остановило непонимание: серый, дымчатый свет этого непонимания, изумляя, все плотнее обволакивал его душу. Так порой в мастерской очаровывало его, бывало, похожее отчуждение: силится он понять — что это? — глядя, как из иного мира, на привычные окройки железа или на синие гирлянды стружек у станка».

В мире политинформаций, генсеков, собраний, гипсового Ленина Симонов чувствует себя рабом, а в мире воображаемом представляет себя «умаленным силуэтом». Оба мира унылые, скудные и обескураживающие. В своей позиции Владимир, похоже, мало отрывается от куцей, но громогласной и претенциозной философии своего отца.

Полусумасшедший Коля-бог шутовски ораторствует о вере и неверии, он «...косноязычно спорил сам с собой на два голоса: “Бог есть-есть-есть-есть”, и тут же резко перебивал сам себя: “Бога нет-нет-нет!... Один черт вокруг!”»

Известно, что и вера может быть великой силой и богоборчество может быть великой силой. А кликушеские заклинания Коли-бога не влекут ни мыслительных, ни поведенческих последствий. Они остаются голой фразой, лишены всякой энергии. К тому же к этим возваниям проповедника-забуддыги добавляется его смехотворная похвальба, что у него «есть красная книжка». У Коли-бога есть сподвижник-собутыльник, который публично клянет генсека Брежнева и предсовмина Косыгина. Но и Петя Сандалов и Коля-бог бессмысленно талдычат, что Ленин жив. Анекдотические, курьезные фигуры Пети Сандалова и Коли-бога имеют в повести серьезный смысл. Их убогое фразерство призвано подчеркнуть, что и коммунистическая пропаганда и ее низовая народная критика выродились, что омертвевшие догмы этих антагонистических позиций могут мирно сосуществовать в одной голове. То, что для Коли-бога является скоморошеской личиной и шутовским кривлянием для его сына стало содержанием внутренней борьбы и обернулось духовной драмой.

Но роковая печать наследника юридивого отца не отринута, не изжита Владимиром Симоновым. Если для отца Владимира предельной ценностью был бог, пусть и в превращенной, искаженной форме, то для самого Владимира такой предельной ценностью стал коммунизм и его атрибуты — Ленин, рабочий класс, советский человек. Так же как и отец, Симонов от приверженности переходит к бунту. Но и в самом бунте он не изживает отвергаемые коммунистические догмы и мифы. Бунт его оказывается бессильным и бесплодным. Первоначальную точку отсчета, систему ценностных координат он изменить не может. В голове Симонова роятся взаимоисключающие идеи, в равной степени примагниченные к коммунистическим исходным постулатам и к низовой народной критике этих постулатов. Еще во втором классе его поразила диссидентская реплика старшего мальчика. Патетическую фразу учительницы о том, что «мы идем ленинской дорогой», четвероклассник Владик в доверительном разговоре с Симоновым опровергает, что мы давно свернули с этого пути «в канаву». Этот разговор навсегда отпечатался в памяти Симонова, расщепил его сознание. А совладать с противоречием, прибиться к какому-нибудь берегу он не может. Симонов проклинает начальство, но гордится одобрительным отзывом о своих стихах ответственного сотрудника Ярославского издательства. Тот признал, что в его стихах есть надежная идеологическая основа.

Симонов терзается своей раздвоенностью: «Почему чуть ли не десять лет сознательной жизни ты во всех спорах-разговорах, во всех своих мечтах-стишках любовался тем раем, в который теперь всаживаешь штык? Никому не признаюсь в этом — страшно! — так ты слабо сопротивляешься сам себе...»

Симоновская неприязнь и враждебность к советской власти концентрируется вокруг бюрократического беспредела партийной заорганизованности: вокруг изнурительных, иссушающих мозг собраний, нелепых предвыборных инструктажей. Настоящий комплекс, психоз образуется и развивается в душе Симонова при созерцании ленинского бюста в райкоме партии: «Голова-то действительно мертвая!... Ему даже показалось, что голова опустилась ниже, ссохлась, как те головы-трофеи, которые засушивали индейцы в прочитанных в детстве книжках про Чингачгука. Даже багровая завеса тоже будто покособилась, закуржавела от давнишней крови». Гипсовые изваяния и фантазии героя подменяют реальность.

Конечно, советская власть способствовала сокрытию реальности от человека, но Симонов идет гораздо дальше в отстранении от живого бытия. Сам собою монумент не является ни

добром, ни злом, так что симоновская одержимость все искажает. Ненависть к советскому вождю, и даже не к вождю, а к его изваянию, переходит у Симонова в ненависть к народу, к массам. Ни человек в отдельности, ни народ в целом не отделяются Симоновым от политического строя, от вождей. Он негодует против терпения и спокойствия народа. Он опрометчиво объясняет спокойствие народа соглашательством с властью, покорностью перед ней, а не тем, что народ безотносительно к власти занят своими заботами и интересами. С одной стороны, Симонов болезненно ощущает, что над ним довлеет проклятье отверженного отца Коли-бога, что он, Владимир Симонов, — дурак, что его заслуженно избегают девушки, с другой стороны, он возлагает на себя грандиозную миссию — избавить страну от Брежнева, истребить раболепствующую перед вождями толпу. В своем сопротивлении советскому он заражен советской бескомпромиссностью и агрессивностью: «бежать, бежать — а потом размахнуться и всадить штык! — и вообразилось уже ему подобие той картины, где Ленин на трибуне, а сверху — свет и зарева, и толпа — старинная, еще из девятнадцатого века, и он со щелком всаживает штык в эту толпу» — так грезит Владимир Симонов, возмнивший себя революционным ниспровергателем и советской революционности и советского начальствования. Погруженный в свои сомнения и подозрения, Симонов жадно впитывает извне все, что соответствует его настроениям. Жизнь как бы подслуживается ему, одобряет его помышления. Однажды во время пропагандистской лекции он подслушал разговор двух фрондерствующих инженеров, утверждавших, что социализм — это смерть и требуется прорыв к жизни. В общении инженеров ощущается непринужденность, раскованность и безбоязненная готовность поделиться друг с другом рискованными соображениями и оценками. Даже в процессе партийной промывки мозгов они не теряют себя, сохраняют свое внутреннее достояние. Симонов же «болезненно затревожился: все его тайные помыслы, все то, что он привык сам для себя называть своей душой, утянулось куда-то, угасло в пестром людском позорище. Всегда чувствовал, что в душе у него есть что-то — домашнее, тайное, а теперь не стало ничего, кроме внутреннего бессилия».

Фрондерствующие инженеры и мнительный, зависимый Симонов составляют знаменательный контраст в персонажной системе повести. Для 1970-х годов опасливость Симонова представляется нам чрезмерной. Понятны страхи его матери, отсидевшей срок. Он же при всей бесшабашности домашних выпадов против начальства слишком поддается ее опасливым внушениям и предостережениям. Материал и сюжетная логика повести не дают оснований мотивировать комплексы и психозы Симонова социалистическим идеологическим прессингом.

В повести Гоголя «Записки сумасшедшего», с которой проблематика и характер главного героя книги Смирнова «Сын Коли-бога» перекликаются, сумасшествие Поприщина мотивируется вопиющими пороками и несправедливостью социального устройства. У Смирнова же ко лжи и порокам социальной системы, мотивирующих психическое и интеллектуальное помрачение Симонова, добавляются ложь и пороки болезненно амбициозного, но чрезвычайно изолированного от реальности сознания главного героя. Симонов во многом сам виноват, что степень его свободы не расширяется, а сокращается. Вроде бы подслушанный разговор фрондерствующих инженеров должен был укрепить его уверенность в собственной правоте, обрадовать встречей с союзниками. А ему же хочется оборвать их: «А вот сейчас как крикнуть на них, — озлился он, — как, мол, вы смеете, а?» Суть дела в том, что они смеют, а он не смеет. Они смеют делиться и доверять друг другу, а он не смеет. Его обидчик Фонарев смеет ухаживать за девушками, а Симонов после первой неудачи поставил крест на любовных надеждах. Поэтому он так злобствует, подозревает и обособляется от людей, добившихся успеха. Он, например, беспочвенно подозревает парторга Уткина в том, что тот донес на него редактору Хитрову, и этим вызвана задержка публикации стихов. Но ведь стихи его были прочитаны по радио. Таким образом, сам Симонов обрекает себя на неудачи, полагаясь лишь на свой

природный талант и не желая учиться. Бойкотирующее отношение к жизни лишает Симонова энергии и жизненных перспектив.

Чрезвычайно символичен эпизод из симоновского детства, который любит пересказывать его мать. Четырехлетний Владимир увел младшего брата в бор и не откликнулся на зов матери. Мать в воспоминаниях до сих пор растрогана его взрослостью, а надо бы тревожиться по поводу его отстраненности, отрешенности. Не откликается Симонов ни на зов парторга, назначившего его политинформатором, ни на зов инженеров-диссидентов, критикующих социализм. Даже в этой критике он готов усомниться, даже от нее он отшатывается: «Не сокрыт ли даже и в самом обличении социализма обман, не навязывается ли он хитро, чтобы хоть на сколько-нибудь отвлечь усилия ума от подлинной причины того ада, которым неприметно обрастает земля?» В этой чудовищной догадке об аде, которым якобы обрастает земля, Симонов видит «избаву», спасение от заблуждений и хитроумных интеллектуальных ловушек, подстраиваемых нам неутомимыми врагами и недалекими наивными союзниками. Поразительно, как эта догадка об аде равносильна утверждению Коли-бога, что Бога нет, а «один черт кругом». У Коли-бога такая констатация носила отвлеченный характер, а его сын подозрение о реальности ада связывает с реальностью социализма. Определив социализм как виновника тягот и лишений, Симонов намеревается уничтожить главного социалистического начальника Брежнева.

Перед воображаемым поединком с Брежневым у Симонова случилась реальная схватка с земляком Фонаревым, любовным соперником Владимира. Драка произошла по инициативе Симонова, завершилась не только его поражением, но и внутренним крушением, самоубийственной просьбой «добивай меня». Таким образом, бесконечные притязания и мессианские порывы совмещаются у героя с вопиющей беспомощностью в конкретных, частных делах. Да и от претензий к социализму он склоняется к неверию в благоустройство мира вообще. Вот какие безотрадные, безутешные настроения нередко одолевают Владимира: «Как выдержать всю эту застывшую на века омертвелость, время без времени. Такое стояло и в двенадцатом веке, и в семнадцатом, и в революцию, и сейчас стоит недвижимо в этом овраге: затаилось в своей адской мгле». Получается, что все в этом мире — смерть и адская мгла. Неверие, отрицание мира ведет героя к самоотрицанию. Воля к жизни истощается и уступает воле к смерти.

В повести «Сын Коли-Бога» Николай Смирнов раскрывает феномен стихийной народной оппозиции практике и идеологии социализма. Эта оппозиция смутная, противоречивая, болезненная. Симоновы отнюдь не Базаровы. Хотя и на Базарова порой находит уныние, но он стоит за свою правду непреклонно и достоинства своего никогда не роняет, убеждений не скрывает. Критицизм Симонова не вселяет в него ни силы, ни гордости, ни сознания своей правоты. Его критицизм распространяется с социализма на мир в целом, а потом и на самого себя. Человек без надежды, без веры перестает различать истинные дары и блага бытия. В нем развивается бойкотирующее отношение к жизни, он перестает откликаться на ее благие зовы.

Н. Смирнов в повести «Сын Коли-Бога» убеждает, что русский человек сохранил в своей душе чувство высокого предназначения, исторической роли. Но это великое достоинство русского человека на исходе двадцатого столетия оказалось поврежденным и нуждается в возрождении и очищении. У Николая Смирнова есть оригинальное, глубоко мотивированное мирозерцание, ставшее предпосылкой подлинных художественных открытий. Характеры и ситуации, представленные в произведениях писателя, замечательны смысловой энергией, заостренностью и сгущенностью обобщений. К тщательной бытовой детализированности, к серьезной социальной мотивированности характеров и событий в произведениях Николая Смирнова добавляются попытки писателя проникнуть в иррациональные предпосылки человеческих судеб и исторических процессов.

<http://parus.ruspole.info/node/3305>

Гаврилов Валентин

Валентин Александрович Гаврилов — кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы МГГУ им. М.А. Шолохова. Специалист по теории литературы и по русской литературе XX века. Читает спецкурсы по драматургии Булгакова М.А. и по проблемам литературоведческого анализа художественного текста. Научные исследования связаны с творчеством А. Солженицына и Ю. Бондарева.

Автор более пятидесяти научных работ, среди которых: «Тема предательства в романе А.Солженицына “В круге первом”», Сб. «Актуальные проблемы современного литературоведения», М., РИЦ «Альфа», 2001; «Своеобразие художественного детерминизма в повести А. Солженицына “Раковый корпус”», Сб. «Русское литературоведение в новом тысячелетии», М., «Таганка», 2003; «Интеллигенция в условиях исторического катаклизма в романе Ю. Бондарева “Бермудский треугольник”», Сб. «Русское литературоведение в новом тысячелетии», М., «Таганка», 2004; «Позиция автора в романе А.Солженицына “В круге первом”», Сб. «Филология: проблемы истории и поэтики», М., «Таганка», 2004; «Идея нравственного императива в романе А. Солженицына “В круге первом”», Сб. «Русское литературоведение в новом тысячелетии», М., «Таганка», 2005; «Шагать по негаснущим звездам (о романе Ю. Бондарева “Бермудский треугольник»)», М., РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2006; «Проблемы веры и религии в романе Ю. Бондарева “Бермудский треугольник“» М., РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2006.

Награжден памятной медалью «К 100-летию М.А. Шолохова».

<http://www.ruspole.info/taxonomy/term/1094>